

ИДЕАЛЬНЫЙ
ЧЛЕН ОБЩЕСТВА,
или записки с передовой

X

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

Le Roosh

18+

Le Roosh

**Идеальный член общества,
или Записки с передовой**

«Автор»

2026

Roosh L.

Идеальный член общества, или Записки с передовой / L. Roosh — «Автор», 2026

Они познакомятся на сайте знакомств, но не до конца. Она — мать троих сыновей, циник с французским прононсом и самоиронией вместо брони. Он — военный врач с божественным профилем, идеальной грамматикой и одним секретом, который перечеркнёт всё. Эта книга написана не по законам жанра, а по законам реальности. В её основе — подлинная история, которая разворачивается прямо сейчас: без цензуры, без причёсанных диалогов, без гарантий счастливого финала. Автор не знает, чем всё закончится, — и эта честность бьёт сильнее любого литературного приёма. «Идеальный член общества...» — это роман в форме живого дневника, где каждая глава пытается догнать ускользающую действительность. О невозможности отмыться от прошлого — и о человеке, который не побоялся испачкаться рядом. О любви, которая не ждёт развязки, потому что развязка ещё не случилась. И о женщине, чей главный выбор — не «простить или уйти», а «какими буквами описать происходящее».

Содержание

33, или предисловие автора	5
Войдите, открыто!	6
— ТРИ ТЫСЯЧИ ПОЦЕЛУЕВ ТОМУ НАЗАД —	8
Дежавю	8
Бельэтаж	11
Плацебо	14
Идеальный свитер	15
Борщ, внутривенно	16
Жар-птица	17
Mon Dieu	19
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Le Roosh

Идеальный член общества, или Записки с передовой

33, или предисловие автора

У нас с тобой в алфавите тридцать три буквы. Не больше, не меньше. Тридцать три свинцовых литеры в наборной кассе — бери любую, ставь в строку, зажимай в верстатке. Какие наберёшь — те и отпечатаются. В судьбе или на бумаге — не важно.

Одни набирают: «**Люблю тебя, скучаю**». Три слова. Одиннадцать букв. Мягкие, тёплые, как хлеб из печи.

Другие выкладывают: «**Прошу привлечь к ответственности гражданина N по факту...**» Безжизненный канцелярит.

Третьи набирают одно и то же месяцами: «**Жду**». Снова. И снова. И снова. Одно слово. Три буквы. В нём «Ж» жужжит, как шмель, «Д» стоит уверенно, как дом, «У» — удивляется, что ты так долго не идёшь.

Тридцать три буквы.

И бесконечное количество миров, которые можно из них построить. Или разрушить.

Я не святая. Я тоже складывала буквы в слова, от которых людям было больно. Врала. Уходила. Молчала, когда надо было говорить. Говорила, когда надо было молчать.

Но сейчас я пишу эти заметки. Они выросли из нашего секстинга. Мы писали друг другу, пока в твоём блиндаже была связь. Слова заменяли пальцы. Предложения — язык. Абзацы — движения бёдер. Длинное тире — дыхание.

А потом связь прервалась.

И в моём горле застряли тысячи слов. На кончиках пальцев — тысячи ненабранных символов. Они зависли, как пассажиры на перроне, когда поезд отменили. Не выплюнуть, не проглотить.

Но рельсы не разобраны, табло ещё не погасло. И касса открыта.

P.S. Все совпадения с реальными людьми и событиями случайны. Автор не имела в виду никого конкретного, за исключением тех, кого имела.

Войдите, открыто!

Когда вечером в дверь постучали, я удивилась — курьеры всегда звонят в домофон, да и не заказывала я ничего.

Тем более военную полицию.

Но она пришла. Она всегда приходит без приглашения.

Стучали тяжело, уверенно. Так стучат люди, у которых есть право стучать. Не просьба — приказ, замаскированный под вежливость. Собака, которую мы ещё не купили, не залаяла, потому что её не было. Была только я, мои испуганные дети и этот стук, от которого вибрировала дверная коробка.

Вопреки своему обычаю жить нараспашку, я посмотрела в глазок и спросила «Кто?»

— Военная полиция, откройте. — И назвали твоё имя.

Полное, красивое, симметричное и зеркально отражённое от моего. Мы шутили с тобой, что наши отцы не долго думали, как нас назвать. И что мы тоже не будем долго думать — дочку назовем Леркой, а сына — Женькой. Лерка и Женька.

— Откройте! — вернул меня в реальность голос по ту сторону двери.

Я не открывала. Вместо этого позвонила тебе, и твой ровный глубокий голос меня успокоил и запутал одновременно. Я догадалась позвонить адвокату. Получила телефон дежурного прокурора и инструкцию: хочешь — открывай, не хочешь — не открывай. Без постановления полиция не имеет права входить. Только по приглашению. Постановления с их стороны не было, приглашения с моей — и подавно.

Но гости стучали ещё и ещё. С перерывами. Сначала настойчиво, потом с угрозой и обещанием вызвать полицию, потом почти просительно — мол, ну откройте, мы же всё равно не уйдём. Я не открывала. Потому что чувствовала: как только я открою, ты перестанешь быть моим. Ты станешь тем, кого ищут. Тем, кого я не знаю.

Я ждала, что ясность придёт с твоей стороны. Что ты скажешь что-то, после чего всё встанет на свои места. Что ты объяснишь, почему военная полиция ищет военного врача, который лечил раненых. Объяснишь так, что я поверю.

Но ты молчал.

А количество потусторонних сил за дверью увеличивалось.

Через час я устала. Не испугалась. Не сдалась. Просто устала от этого дабстэпа, который я не заказывала. И за 65-ваттную колонку прятаться было уже поздно — тётя Валя давно пожелала всем малышам «Спокойной ночи!». К тому же кофе остыл.

Я подошла к двери и с полминуты не могла её открыть — крутила замки, дёргала ручку, и с обратной стороны, вероятно, казалось, что моя дверь заперта как у Шефа из «Бриллиантовой руки». Оказалось — всё это время дверь была открыта. Как моя вера в людей.

— Ищите, — дала я команду псам.

Непрошенные гости переглянулись. Видимо привыкли к слезам, к «а что случилось», «он хороший, вы ошиблись». А тут — «фас».

— Мы разыскиваем... — начали чеканить вояки.

— Я знаю, кого вы разыскиваете, — перебила я. — Вы разыскиваете мужчину, которого я сама разыскивала всю жизнь.

— Беглого преступника, — перефразировал на казённый язык кто-то из сине-зелёного квартета.

Вдох сломался где-то на полпути и застрял в груди осколком.

Правда вообще всегда прошивает, как пуля — сначала не чувствуешь, только удар, а потом накрывает жаром и холодом одновременно.

Когда дыхание нормализовалось, я рассмеялась. Сначала тихо, потом громче, потом почти в голос. Не потому что смешно. Потому что если не смеяться — придётся кричать. Кричать, что я же видела! Я видела эту статью в интернете, но отмахнулась от неё как от досадного недоразумения, решив, что полное совпадение ФИО — это просто совпадение!

— Знаете что, — сказала я, просмеявшись и вытирая глаза, — вы не там ищите. Поищите в табакерке.

— В какой табакерке? — не понял прыщавый.

— В той самой, откуда чёртик выскакивает, — пояснила я терпеливо, как объясняют детям, почему нельзя есть жёлтый снег. — Ну, знаете, такая коробочка с сюрпризом. Нажимаешь — и выпрыгивает. Вот у Жени член точно так же выскакивал из трусов. Всегда неожиданно. Всегда к месту. Хотите, покажу? У меня фотографии есть. Могу распечатать для ориентировки. Повесите на доску «Их разыскивает полиция» — будет самый популярный стенд в отделении.

Прыщавый покраснел так, что его прыщи стали незаметны на общем фоне. От смущения или от злости — я не разобрала, но оснований для допроса не было, поэтому гости начали обуваться.

— Если объявится — позвоните. — вместо «до свидания» дежурно выдохнул усатый.

— Если объявится, я ему сначала отсосу, а потом, может быть, позвоню. Но не вам. Маме его позвоню. Сказать, что сын — мудака, но я всё равно его люблю.

Мне пригрозили статьёй за укрывательство дезертира, но я уже закрывала за ними дверь. На этот раз — на замок.

Я прислонилась к стене и медленно сползла. Дети стояли в коридоре. Средненький смотрел на меня с той взрослой тревогой, которая появляется у детей слишком рано, когда они понимают: мама не справляется, мама сейчас упадёт, и поднимать её придётся ему.

— Откройте окна, — попросила я детей, — иначе мы задохнёмся сегодня.

Мы проветривали квартиру очень долго. Очень. Открывали все окна — у нас их семь, по числу дней в неделе, по числу нот в музыке, по числу кругов ада, которые я прошла в тот вечер. Хотя на улице было холодно. Хотя дети мёрзли, кутаясь в пледы. Хотя сквозняк выдувал не только этот убийственный запах грязных ног, но и последнее тепло, последние иллюзии и надежды на то, что всё это — ошибка, недоразумение, дурной сон, миф.

«Миф» — это был твой позывной. Я криво и горько улыбнулась. Как улыбается женщина, которая только что узнала: её личный Миф оказался не богом, а всего лишь актёром, блестяще отыгравшим роль. И вместо того чтобы злиться, она почти аплодирует. Потому что спектакль был хорош. Очень хорош. Настолько, что хочется выйти на сцену, пожать руку и сказать: «Браво, сукин сын, браво! Я поверила».

— ТРИ ТЫСЯЧИ ПОЦЕЛУЕВ ТОМУ НАЗАД —

Дежавю

Ты лайкал меня несколько раз, но я не видела. А ты терпеливый. Дождался, когда у меня открылось окно фертильности и случилась овуляция. И тут организм продиктовал свои правила: начал смотреть на мужчин иначе: не анфас, а в профиль.

А профиль у тебя оказался что надо: как у сына Зевса и Геры на аверсе персидской монеты. Которую уже не разменяешь, но расплатиться ещё можно.

На реверсе же было отчеканено:

«**Все, кроме меня думают, что я врач**». Ясен пень, я тоже так подумала: белый халат и стетоскоп на шее не оставляли сомнений.

Ещё подумала — «какой скромный доктор!» И накинула «плюс триста» к твоему профилю. Авансом.

Дальше было что-то про «**не в потоке, не в ресурсе**» и прочие нигилизмы. Я перевела это с древнегреческого как «адекватный».

Особую ценность твоей «монете» придавала гуртовая надпись «**профессионально балую женщин**». Хотя сейчас мне кажется, что в середине первого слова была буква «а». А не «о». Но это уже не важно. Важно, что яйцеклетка требовала жертв. Или хотя бы интересного текста. И я выпустила стрелу Амура. Попала, как обычно, себе в ногу, но это тоже не важно.

Важно, что диалоговое окно открылось и пузыри сообщений поплыли вверх как диоксид углерода в только что откупоренном шампанском.

Неделю я хохотала и пьянела без вина. Так, что по временам приходилось закидывать чат в архив — чтобы не уволили за «пьянство» прямо на рабочем месте.

Сидя в чулане, ты разглядел во мне Grammar Nazi и научился ставить длинное тире. С тех пор паузы в нашей переписке стали правильными и диалоги перестали походить на телеграфную ленту. Больше — на азбуку Морзе. Не то чтобы это спасло мир, но глаз радовался. Сейчас мне кажется, что этот твой интерес к длинному тире сработал как пароль к моему кодовому замку. Как сигнал «Я свой. Я говорю на твоём языке». И я впустила. И точка. Точнее — точка и тире.

Грамматически выверенными конструкциями, без единой ошибки, мы запланировали коньки, вино и чебуреки. На шестое декабря.

Синоптики на шестое декабря запланировали дождь. И ошиблись. Как обычно.

Но мы этого ещё не знали, поэтому ты бил их карту осадков бронью стола в ресторане. У окна. Где то окно — не сказал.

Просто вызвал такси к часу X, и меня доставили. Как ёлку под Новый год. Только без мишуры: я заранее предупредила, что в вечернее платье рядиться не буду и приду в джинсах. Потому что я такая. Потому что если не нравится — можешь идти к чёрту.

Водитель остановился у «Неба и Вино». Минут на сорок позже оговоренного времени. Но это была не его вина. Это я вечно опаздываю. В этот раз настолько, что ты успел сосчитать все пузырьки в просекко объёмом 0,75 мл.

Когда я добралась до «Неба», ни одна туча не пронеслась по твоему лицу. Полный штиль. До сих пор не знаю — то ли просекко в «Небе» так хорош, то ли я оправдала ожидания. Но осадков не случилось. Только нити жемчужных пузырьков напористо поднимались в твоём бокале. Пф-ф-ф-ф

— Знаешь, как это называется? **Perlage**¹ — сам спросил и сам ответил ты, не давая мне обнаружить моё же невежество. — Звучит смешно, а выглядит красиво, правда?

— Да, но видимо только в русском языке. — не растерялась я и выказала я понимание этимологии этого термина. — А ещё пока смотришь — ощущается как дежавю. Но это, наверное, на всех языках.

Пузырьки продолжали подниматься, лопаться и исчезать. Как те анкеты, что я пролистывала до тебя в том блядском приложении.

— А ты знаешь, что дежавю — это просто ошибка мозга? — решила я блеснуть эрудицией.

Ты не успел ответить ни «да», ни «нет».

— Представь, что в твоём мозге есть два отдела, — не останавливалась я. — Отдел «Это новое?» — оценивает, встречался ли ты с этим раньше. Отдел «А что конкретно это было?» — ищет в памяти детали. Обычно они работают синхронно. Но иногда, — я растянула последнюю гласную и повторила, — иногда сигнал от отдела «новизны» задерживается и мозг не успевает понять откуда инфа. И ошибочно заключает: «Это с нами уже было». Хотя на самом деле — не было. То есть ощущение возникает до того, как мозг успевает найти конкретное воспоминание. Отсюда это мучительное «это уже где-то было».

Ты, очевидно, знал об этом и до меня, но дал договорить.

Вообще надо признать, что в тот вечер на одно твоё слово пришлось примерно двести моих реплик и десятков косых взглядов из-за соседних столиков.

За каким-то чёртом я решила поделиться с тобой всем своим опытом дейтинга. Ну то есть как решила. Момента принятия решения я не помню — меня просто рвало и тошнило этими кейсами, и они вываливались из моего рта один за другим, как непереваренные пельмени. В конце повествования я чувствовала себя круглой **пьюрочкой**².

А дождь так и не начинался — тот, который обещали. Поэтому, когда мой последний рвотный позыв затих, мы решили вернуться к первоначальному плану и рванули на каток. Успели на последний сеанс в Новую Голландию.

Оказалось, что ты катаешься божественно. Я с тобой — тоже. Не потому, что вдруг стала фигуристкой, а потому что твои руки не отпускали меня. И ещё потому, что в детстве ты, оказывается, занимался фигурным катанием. И тренировался на одном льду с Плющенко. Я захотела запечатлеть катание — да, через одни руки, но всё же — с самым титулованным фигуристом России. Но смутилась и сфотографировала только ноги.

«Меня можно фотографировать» — бесхитростно сказал ты и улыбнулся. Как ничейный добрый пёс. Кажется, даже голову немного наклонил для пущего сходства.

Сеанс закончился, мы зачехлились, я переименовала тебя в «Женя Плющенко» и мы пошли в сторону Петроградки. В какой-то момент я повернулась и снова взгляделась в твой профиль: ни дать ни взять — греческий. Божественный. Кажется, в этот момент я втюрилась. Окончательно. Бесповоротно. Как дура.

Должно быть я себя как-то выдала, потому что через мгновение ты меня поцеловал. Просто взял и поцеловал. Без прелюдий. Без сигнальных ракет. Не выясняя, целуюсь ли я на первом свидании. А я не целуюсь. Обычно я ставлю границы, измеряю дистанцию, проверяю, не псих ли. Иногда справки требую. С подружкой советуюсь. А тут — не стала сопротивляться. Не стала возмущаться. Просто отдалась. Молча. Потому что это было правильно. И вкусно. Не от дешёвых спецэффектов, а от того самого перляжа, который не купишь в магазине: пузырьки поднимались откуда-то изнутри, лопались на губах, щекотали нёбо и кружили голову.

— Кажется, у меня дежавю, — смогла оторваться я от твоих губ.

— У меня тоже. Но это не ошибка мозга. Это план.

Мы стояли в центре трехсотлетнего города, под дождём, который так и не случился, и целовались. Так, словно делали это тысячу раз в прошлой жизни.

Целовались и знали, что этот перляж внутри нас не кончится. Даже когда кончится про-секко. Даже когда кончится зима. Даже, когда мы расставим все точки. И тире.

Точка-тире-точка-тире. Тире. Точка-тире-точка-точка³.

— — — —

¹ **perlage** [перляж] — perle — жемчужина — игра пузырьков углекислого газа в бокале игристого вина, поднимающихся к поверхности стройными дорожками

² **пьюрочка** – это как «дурочка», только с претензией: новое архетипическое существо, населяющее джунгли Pure (дейтинг-приложение с самыми привлекательными анкетами и самыми ненадёжными связями). Женщина, которая достаточно умна, чтобы видеть абсурд, и достаточно... настойчива (или наивна?), чтобы в нём участвовать. Пьюрочка бродит по просторам приложения в поисках разума в царстве инстинктов.

³ в азбуке Морзе это шифр «ЯТЛ»

Бельэтаж

Когда в Александринке не осталось несмотренных спектаклей, мы пошли в Мариинку. На оперу. Не помню какую, кажется итальянскую. Про несчастную любовь. Впрочем, все оперы про несчастную любовь.

В ложе никого, кроме нас, не было – то ли просто свезло, то ли ты выкупил все четыре места. Были только мы, бархат, позолота, сцена и живой звук. Я притворилась, что не удивлена. Просто вошла, села, расправила юбку-шопенку — лёгкую, многослойную, почти до пола, — и сделала вид, что пришла слушать музыку.

Ты сел рядом, открыл либретто и бегло ознакомился с сюжетом.

— В сущности, «Ромео и Джульетта». Но есть нюанс.

— Какой? — успела я спросить, но ты не успел ответить. Свет погас и дирижёр взмахнул палочкой. Оркестр проснулся, как растревоженный улей: сперва нота-разведчица, потом нарастающий гул — и вот уже весь воздух дрожит.

Твоя рука скользнула мне под подол. Сначала просто лежала — горячая, тяжёлая, неподвижная. Потом начала двигаться. Медленно. Лениво. Как будто сама по себе. Кажется, ты даже умудрился бросить на неё ревностный взгляд.

Слов я не разбирала — итальянский скользил мимо, как тёплая вода — но музыка брала за горло. Что-то тёмное, виолончельное, натянутое. Она не объясняла сюжет — она запускала его прямо в солнечное сплетение, минуя голову. Под неё невозможно было усидеть на месте — и твоя рука на моём бедре, кажется, чувствовала то же самое.

Твои пальцы скользнули выше, между ног. Я сжала бёдра — не чтобы остановить, а чтобы почувствовать сильнее.

Я смотрела на сцену, но видела дальше, сквозь закулисы и технические помещения. Субтитры проносились белой ниткой, которой штопают чью-то чужую драму: *«Пусть ужасная правда засияет, как молния среди туч ужаса»*.

Оркестр полез вверх. Скрипки взбирались по гамме, как по пожарной лестнице – звонко, без оглядки. Виолончели ударили в диафрагму. Контрабасы — в солнечное сплетение. Я перестала различать, где заканчивается музыка и начинаешься ты — ты стал музыкой. Ты дирижировал мной из соседнего кресла, и если бы кто-то посмотрел на нас в этот момент, он бы увидел очень чувственную пару.

Я была уже на грани — той самой, за которой перестаёшь контролировать лицо, голос, всё, — когда оркестр вдруг смолк.

Свет зажёгся.

Антракт.

Ты вытащил пальцы — медленно, почти торжественно, — и вытер их о моё бедро под юбкой. Я сидела с открытым ртом, вжавшись в кресло, как пассажир самолёта, которому объявили экстренную посадку, а потом сказали: «Извините, показалось, летим дальше».

Прерванный акт в опере — это, пожалуй, особый вид пытки. Его должны включить в либретто. Акт первый: он доводит её почти до финала. Занавес. Все в буфет.

В антракте мы вышли в фойе и наткнулись на мою коллегу Ложу Партеровну. На самом деле, она Лена Петровна, но все зовут её как зовут, потому что она — главная по культурному просвещению масс. Если в Мариинку — то через неё. Если в музей Довлатова — тоже через неё. Если в туалет на работе — можно не через неё, но она всё равно узнает.

— Вот это встреча! Вы разве записывались у меня? — и назовёт меня по имени отчеству, на правах бухгалтерии. — Как вам постановка?

Мы с тобой переглянулись, и я ответила только на второй вопрос. Зато честно:

— Женя считает, что вид исключительный. А я, признаться, мало что видела.

— Если бы заказывали билеты через меня, вид был бы лучше! — не унималась наша культурная террористка.

— Маловероятно — тихонько ответил ты, но скорее не ей, а мне.

— Я всё прочувствовала. Очень проникновенная постановка. До мурашек. — прервала я акт препирательств и пообещала в следующий раз — только через неё.

Пока длился этот дурацкий разговор, в котором каждый говорил о своём, я заметила в огромных зеркалах в золотых рамах наше отражение. Моя юбка занимала две трети кадра. Пышная, безупречная — ни пятен, ни складок, ни единой зацепки, чтобы вменить нам непростойное поведение. Фатиновая броня. Только щёки горят, глаза блестят и ноги подгибаются. Но под тридцатью слоями фатина этого не видно. Шопенка хранит тайну лучше меня.

Мы, наконец, попрощались с бухгалтерией и вернулись в ложу.

— Второй акт длиннее? — спросила я, расправляя юбку.

— Длиннее, — ответил ты.

— И до финала без антракта?

— Без антракта.

Свет, наконец, погас.

Я сама взяла твою руку и спрятала под многоярусной юбкой. Твои пальцы пробрались выше и обвели сосок — один круг, второй, — и ушли обратно вниз, оставив после себя ток. Я открыла рот, чтобы вдохнуть, и забыла закрыть.

Сопрано взяла первую высокую ноту, и я вместе с ней ушла вверх — выгибаясь в кресле, прижалась затылком к бархатной обивке, как при перегрузке, когда тело наливается свинцом, а из головы вылетают все слова, кроме твоего имени.

Я потянула тебя вниз. Без слов. Просто положила руку на затылок и надавила. Мягко, но неоспоримо. И ты понял.

Ты спустился под юбку, а я осталась сидеть — прямо, неподвижно, глядя перед собой так сосредоточенно, что, кажется, встретила глазами с Глинки на Театральной площади.

Твоё дыхание коснулось меня раньше губ — горячее, влажное, как воздух в тропиках.

— Не двигайся, — шепнул ты из-под юбки.

Язык. Сначала — едва уловимая точка касания, потом — властное, медленное, всё знающее скольжение. Ты шёл по мне, как по карте, выученной наизусть в тысяче других жизней. Обострилось всё. Кроме совести.

На сцене герой требовал вернуть обручальное кольцо и проклинал возлюбленную. Я тоже готова была тебя проклинать, потому что ты не торопился. То замирал, то возобновлял движение — волнами, кругами, длинными скользящими касаниями. Я перестала чувствовать ноги. Потом — руки. Потом — всё, кроме твоего рта.

Когда твои пальцы вошли, а язык остался снаружи, на точке невозврата, я перестала дышать. Не было больше ни оперы, ни ложи, ни Глинки. Только ты.

Сопрано потянула предпоследнюю ноту — ту, что длится дольше человеческого выдоха. Зал замер.

И когда она отпустила — грянул шквал аплодисментов, и первые «Браво!» понеслись через партер — и я разлетелась. В осколки. С твоим именем, которое никто не услышал, потому что оно провалилось в оркестровую яму.

Я улыбнулась и зачем-то поклонилась. Как будто это мне кричали. Как будто примадонна здесь была я.

Ты поцеловал меня под юбкой, поднялся. Сел рядом. Поправил воротник, как ни в чём не бывало.

— Давай дома на bis — предложила я.

— На bis обычно выходят, — возразил ты.

— Это смотря с какой стороны — со стороны зрителей, технически, это вход. Не увиливай. — распутала я начавший запутываться лингвистический клубок и переименовала тебя в «Женя-Маэстро».

Домой пришлось бежать. Потому что дома нас ждал этот ненормальный щенок, которого мы договорились купить, и если его не выгулять вовремя — он сожрёт диван. А у нас ещё вход/выход на bis запланирован.

— — — —

¹ **Fia che splenda il terribile vero come lampo fra nubi d'orror** — *Пусть ужасная правда засияет, как молния среди туч ужаса — поёт начальник стражи*

² отсылка к скандалу 2020 г, когда в уборных Мариинки была обнаружена скрытая камера.

Placebo

Через два дня Младшенькому исполнялось тринадцать.

Но всё полетело к чертям — торт, свечи, шарик, гости — его градусник неожиданно выдал сорок.

Я запостила эту маленькую трагедию в сторис, потому что иногда единственный способ не закричать — это превратить свой ужас в пиксели и графемы.

Кто-то даже лайкнул. Человек, который лайкает температуру сорок у чужого ребёнка, — это, наверное, какой-то новый вид социопата. Или просто тот, кто смотрит сторис на автомате, не вглядываясь. Не знаю.

Родной отец именинника поздравил болезного щедрой горсткой связных букв, но на вопрос «Нужна ли помощь?» литер в его наборной кассе, очевидно, не хватило.

А через час написал ты.

— Ты дома?

— Бома, — перепутала я буквы, но получилось смешно, уютно и навсегда вошло в наши словари.

— Я пришлю курьера.

И в этом «я пришлю» было что-то командирское. Не просьба оставаться на позициях, не предложение. А приказ, который не обсуждается.

Вскоре нам доставили пакет.

Небольшой. Лёгкий. Среди прочего — упаковка без торгового названия. Белая, скромная, почти больничная. На обороте мелкий шрифт — только действующее вещество — и химическая формула, которая должна была внушать доверие.

Я посмотрела на упаковку. Потом на сына. И снова на упаковку.

Вспомнила дурацкий анекдот про врача, который не гинеколог, но посмотреть может.

В руке я держала препарат, который в моём личном рейтинге доказательной медицины стоял где-то между малиновым вареньем и заговором на воду. Я, конечно, тоже не врач, но за годы работы в клинических исследованиях волей-неволей научишься отличать молекулу от бренда, доказательство — от рекламы, лекарство — от плацебо.

Я дала сыну нормальное лекарство. То, которое работает не по счастливому стечению обстоятельств, а по клиническим протоколам. А потом открыла наш чат и переименовала «Женя-Маэстро» в «Женя-Арбидол».

Нежно. Не всерьёз. Как называют самых близкий дурацкими прозвищами, от которых они морщатся, но улыбаются.

Ты узнал об этой моей шалости случайно — когда я промахнулась окнами и скинула тебе же скриншот нашего чата. Вместо лучшей подруги.

— Притворюсь, что не видел этого. Но почему Арбидол? — только и спросил ты.

— Потому что клинически не доказан, но без веры в тебя — никуда.

— Плацебо тоже иногда работает.

— Только если принимать его не натошак, а с большим количеством веры.

Идеальный свитер

На первое свидание я, как и обещала, пришла в джинсах. В джинсах и идеальном свитере. Это не фигура речи и не кокетство. Он до сих пор так и подписан на полке USHATAVA — «Идеальный свитер». Это константа в их товарной матрице, потому что идеальное не подвергают рестайлингу.

А он действительно идеальный.

Настолько, что ты узнал его сразу. Пожалуй, его ты узнал даже быстрее, чем меня. Я пела ему дифирамбы в своём канале, публично сокрушаясь, что в модельном ряду восемь цветов, а у меня в шкафу — только один. Бежевый.

Ты прочитал. Ты запомнил.

На третье свидание ты пришёл с пакетом. Огромные чёрные буквы на белом фоне моментально обнажили твой замысел.

Я знала, что внутри. Не знала только цвет.

Шоколадный.

Такой же мягкий, как мой бежевый. Такой же тяжёлый. И не просто безупречный – сверх-безупречный: я проливали на него кофе, потом шоколад – он всё вбирал. Ни пятна. Ни следа. Ни упрёка. Он всё прощает.

Я смотрела на него и думала: вот что значит — идеальный. Не тот, кто без пятен. Тот, кто принимает пятна другого, как свои.

Но было в нём что-то ещё. Что-то, чего не купишь в магазине и не закажешь на вайлдберриз. Будто в нежном мериносовом волокне прячется невидимая армированная нить. Я не вижу её глазами, но чувствую кожей. Она не колется, не блестит, не линяет при стирке. Не рвётся.

Она просто есть.

Память о том, что кто-то прочитал твоё нытьё в телеграме и захотел сделать твой мир чуть идеальнее.

Борщ, внутривенно

После второго развода я начала лениться. Кормила мальчишек готовой едой чаще, чем одобряла моя мама. Домашними оставались только сырники, блины и секретные хахлапуни, рецепт которых мне достался от тётки из Одессы. Их нет в интернете, не пытайся загуглить. Они — в крови.

К моменту, когда я впервые пустила тебя в свой дом, огромная кастрюля, рассчитанная на главу семьи и мой коронный красный борщ, уже несколько лет пылилась в дальнем углу дальнего шкафа. Я почти забыла, как она выглядит. Как звучит, когда подпрыгивает и стучит крышка на медленном огне.

Тогда ты увидел у меня в холодильнике упаковку с борщом. Взял её в руки, повертел, прочитал крупные буквы «ВВ» и застыл. Как будто это не логотип «ВкусВилла», а маркировка на пакете с кровью для переливания. «Внутривенно». Борщ в пакете — красный, густой, тяжёлый. Он похож на ту самую кровь. Которая течёт по трубке. Которая спасает жизнь. Которая напоминает, что ты не просто солдат. А тот, кто держал жгут, пока другие молились. Твои пальцы сжали пакет так, будто ты готовился к худшему.

— Жень, это просто борщ, — сказала я.

— Я вижу, — ответил ты. Но смотрел не на меня.

Ты положил его обратно в холодильник. Аккуратно, как детонатор.

— Давай я сам, — сказал ты.

— Давай тогда уж вместе, — согласилась я.

С тех пор мы варим борщ сами. С мясом, с настоящей свёклой, которая красит руки так, будто мы только что кого-то убили, но никто не умер. С капустой, которую ты шинкуешь так тонко, что шелкопряд завидует. С любовью и душистым перцем. С лимонным соком вместо уксуса. Потому что уксус пахнет разочарованием. А лимон — жаждой жизни. Он не маскирует вкус — он его пробуждает. Лимонная кислота заставляет желудок просыпаться, требует еды, требует действия. Он не терпит «потом». Он говорит: «Ешь сейчас. Пробуй сейчас. Люби сейчас».

Лимон в моём борще — это ты. Ты, который пришёл и сказал: «Давай я сам». Ты, который не даёшь мне лениться. Ты, который каждое утро желаешь доброго дня, даже когда у тебя самого день не задался. Ты — моя лимонная кислота. Моё вечное «хочу ещё».

Теперь кастрюля стоит на плите, а ты записан как «Женя-кулинар».

Жар-птица

Кажется, в том рвотном приступе на первом свидании в горле всё же застрял один «пельмень».

Он вылепился поздней осенью. Мы договорились встретиться в «Италии» на Большом. Около семи. Но я снова не справилась и к столу опоздала. Точнее столику — он был чуть больше чайной свечи, стоявшей в центре. Маленькая, плоская, безобидная чайная свеча.

Мой визави не признал во мне красотку из приложения — прямо как в тех пресловутых рилсах «ожидание VS реальность» — но на моё предложение сэкономить друг другу время — запротестовал. Подумал «стерпится — слюбится». Наверное. **Je ne sais quoi**¹.

Официантка положила передо мной меню и через несколько секунд за столом начался пожар. Не тот, о котором я мечтала. Горело меню. В моих руках.

— **Merd!**² — выругалась я беззвучно. Иной раз понапишешь записок Луне, а сжечь не можешь — не горит, сука, мелованная бумага, не горит! Только тлеет. И ничего не происходит. И желания не сбываются. Только воняют. Когда совсем протухнут.

А тут — раз. И загорелось. Края корчатся, как живые — сворачиваются в трубочки, поджимаются, как губы обиженного ребенка.

Бумага тлела, а я думала — вот она, метафора моей жизни — я прихожу, и всё горит. Но не там.

От греха подальше нас пересадили поближе к пожарной лестнице.

Мы доели свои зелёные салаты и больше не встречались. Хотя скорее всего, он меня запомнил.

Когда я впервые попала в твой дом — свечей было угрожающе много. Они были повсюду: на подоконниках, на стеллаже с книгами по тактической медицине, на полу в стеклянных стаканах. Не как декор — как часть освещения. Как ритуал. Как способ сделать комнату чуть живее, когда за окном февраль, а батареи еле дышат. И пол ледяной как кафель в морге.

Ты зажигал их, когда мы смотрели фильмы. Но на деле никогда их по-настоящему не смотрели. Мы смотрели как догорают свечи. Как плавится воск, как огонь лижет фитиль, как тень от твоего профиля ползёт по стене, увеличивается, искажается, превращается в незнакомца. Этот театр теней всегда выигрывал в сравнении с телевизором и моими моноспектаклями.

Но однажды я захотела получить от них не только свет, но и жар.

Потому что с тобой я могу позволить себе не быть осторожной. С тобой я могу играть с огнём. Буквально. И не обжигаться.

И я не боюсь тебя попросить. Не боюсь, что ты подумаешь, что я сошла с ума. Что мне мало твоих рук, твоего члена, твоих слов. С тобой — безопасно даже тогда, когда опасно. Потому что ты проверяешь температуру воска на своём запястье, прежде чем капнуть на меня.

Я переворачиваюсь на живот, вытягиваюсь, закрываю глаза. Ты тянешься за свечой. Капашь на меня.

Первая капля упадёт мне на лопатку. Я вздрогну, выдохну.

— Не горячо? — спрашиваешь ты.

— Тепло, — выдыхаю я.

Вторая капля — на поясницу, третья — на ягодицу. Воск застывает, стягивает кожу. Я уже не вздрагиваю — я жду следующей капли. Ты меняешь ритм. То быстро, то медленно. То близко, то на расстоянии. Я не знаю, куда упадёт следующая. И это как разгадывать загадку, у которой нет ответа. Как играть в русскую рулетку. Но я не боюсь. Потому что ты держишь

револьвер, а я доверяю твоим пальцам. Они не дрожат. Они знают, куда целиться. Я закрываю глаза и жду.

Ты рисуешь воском линии по моей спине, по бёдрам, по ногам, обходя нежные места. Воск остывает, застывает, но под ним кожа горит. Я уже вся в мурашках, мокрая, сжимаю простыню. Ты гладишь меня пальцами, счищаешь воск, проводишь языком по следам, целуешь и исцеляешь. Я извиваюсь, шепчу: «Ещё, мой мальчик!»

— Повернись, — говоришь ты.

Не просишь. Командуешь.

Я слушаюсь. Переворачиваюсь. Ты капаешь воск на грудь, на живот, на внутреннюю сторону бедра — высоко, но не касаясь самого чувствительного. Я выгибаюсь, чувствую, как каждая капля отдаётся внизу живота. Ты наклоняешься, целуешь, гладишь языком по животу, спускаешься ниже. Я сжимаю твои волосы, прошу: «Войди». Но ты медлишь. Ты берёшь свечу, наклоняешь, воск капает на лобок, вокруг, но не туда, где слишком нежно.

Потом тыходишь. Одним движением, глубоко, до конца. Я чувствую, как ты пульсируешь внутри, как воск остывает на коже, а ты горишь во мне. Ты двигаешься быстро, жёстко, доводя меня до оргазма за считанные минуты.

Ты кончаешь следом, наполняя меня. Выходишь, гладишь мои бёдра, счищаешь остатки воска, целуешь каждый след. Я лежу, не двигаясь, а кожа помнит каждую каплю.

Я закрываю глаза и думаю: может, не так уж я и сошла с ума. Может, это и есть норма — хотеть, чтобы любимый человек оставлял на тебе следы. Не синяки. Не шрамы. А маленькие, круглые, почти невесомые. Потому что воск — не только жжёт. Он ещё и принимает форму. Ту, которую ты придаёшь. Ту, которую я принимаю, и в которой чувствую себя в безопасности. Даже когда вокруг огонь. Главное — внутри ты.

Ты ложишься рядом, обнимаешь, шепчешь:

— Моя девочка. Моя жар-птица.

Наутро я переименую тебя в «Женя–Прометей».

— — — —

¹ **je ne sais quoi** [жёнёсква] — дословно переводится как «я не знаю что». В переносном смысле оно означает неуловимое, невыразимое словами очарование, особенную притягательность или изюминку, которую невозможно точно описать

² **merd** [мерд] — дерьмо!

Mon Dieu

Ты прислал мне эту зарисовку, когда мы ещё только прошупывали друг друга сквозь экраны. Это был жест не меньшей интимности, чем фотография члена. Возможно, даже большей. Членом делятся многие. А вот текстом, где ты выставляешь богов в трениках и с похмелья, а себя выводишь под маской вечно пьяного и единственно живого Диониса, — могут единицы.

Сначала ты прислал три первые сцены, что тоже рискованно — дуракам половину работы не показывают. Моё внутреннее строгое жюри зависло в ожидании продолжения. В этой паузе я поделилась с тобой своим «Колобком». То ли ты почувствовал себя участником литературного состязания, то ли просто счёл меня достойным оценщиком, но вскоре ты прислал недостающие сцены. Я прочитала залпом. Дважды.

В твоём скетче боги спустились на землю. Нашу землю, в Петербург. И оказалось, что Арес стал Че Геварой на постере, Зевс — быковатым качком из девяностых, которого разводят менты с помощью коньяка «Тамбовский коллекционный» (какая точная деталь, чёрт возьми!). Афродита регистрируется в «Пьюр», как и я, Гермес — подаётся в курьеры «Яндекс Еды». Морфей спит на бездомной собаке, и это, пожалуй, самый счастливый из них.

Все они разбрелись по своим новым «храмам»: фитнес-клубы, алтари в частных чатах, самокаты. Они растворились в городе, который их не узнал и не принял. Они стали функцией.

И только Дионис остался. Тот самый, который с утра пораньше уже подшофе, напевает «Ленинград» и ловко решает вопросы с полицией, подсовывая им бутылку вместо молний. Он — единственный, кто понял правила новой игры. Его храмы — «Красное и Белое». Его паства — те, кто хочет забыться. То есть большинство.

И именно в этот момент я, кажется, влюбилась окончательно. Не в мужчину с идеальным профилем на аверсе персидской монеты. Не в того, кто держит меня за руку на катке в Новой Голландии.

А в того, кто пишет пьесы про богов в трениках и не боится быть смешным. Потому что смешной — это и есть настоящий. Всё остальное — парадное. Всё остальное — ложь, которую мы оба научились распознавать на вкус. Горький, как помело. Солёный, как слеза. Сладкий, как просекко, которое ты пьёшь, пока ждёшь меня.

А теперь — я жду тебя. С красной ручкой. С чёрным кофе. С собакой, которую мы договорились купить. И когда твои боги окончательно растворятся в городе, когда у Зевса кончится годовой абонемент в Фитнес Хаус, а Афродита выйдет замуж за «Артёма», — мы останемся. Ты и я. Дионис и его Grammar Nazi. И это будет наш маленький Олимп. С видом на купол Никольского собора. И с рекламой Vorjomi в ПЭТ. И пусть это никого не волнует, кроме нас.

/технически будет напечатана отдельной вклейкой на более тонкой бумаге или как Приложение в конце книги/

С твоего незапрещения, Женька, я делаю твою зарисовку частью нашей общей картины. Я только расставила горстку запятых, одела китайцев в ветровки *неповторяющихся* оттенков, звон сделала *колокольным* (хотя твой читатель умный, наверняка, сам догадается) и в финале добавила рекламу «Боржоми», мы это обсуждали, помнишь?

Итак, действующие лица:

ДИОНИС — весёлый и озорной, блестящий взгляд, в ушах наушники

ЗЕВС — типичный бородатый качёк, суровый взгляд, речь громкая, фразы стиля Вина Дизеля и Джейсона Стэтхэма

ГЕРМЕС — смуглый, невысокий, среднеазиатский акцент

АФРОДИТА — милфа с накачанными губами, скулами и в пушапе. Взгляд уставший, но развратный

МОРФЕЙ — худой, бледный, речь несвязная

СЦЕНА 1. Мансарда

Все действующие лица просыпаются с похмелья после шумной вечеринки в честь Хроноса. Одеты в туники. Все, кроме Диониса, мучаются головной болью и не понимают, где они и что происходит. Первым говорит Дионис:

— Что ж, как всегда единственный кто будет что-то делать с утра это я, хотя конечно давно пора было бы что-нибудь изобрести на этот случай. Ну да ладно, оставим это людям, я в них очень верю. Да и первым узнавать все ваши проделки с утра очень люблю.

Задумывается, бормочет:

— Вот бы все фрески сразу в одном месте можно было увидеть, и чтобы квадратненькие обязательно...

Одевается и, напевая Ленинград, пошатываясь, уходит.

Афродита пытается привести в порядок причёску, Зевс предпринимает безуспешные попытки прикурить, вызывая мини-молнии, Гермес в недоумении смотрит на свои ботинки и не может встать, Морфей блаженно спит и капает слюной на пол.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.